

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Куприн

Кража

«Public Domain»

1930

Куприн А. И.

Кража / А. И. Куприн — «Public Domain», 1930

«С не совсем обыкновенным человеком свела меня судьба здесь, в Париже, года три назад. Звали его Петром Николаевичем Бровцыным. На всемирную войну Петр Николаевич пошел в четырнадцатом году, будучи уже немолодым врачом. Последовательно он прошел довольно значительный служебный стаж. Был сначала младшим полковым врачом, потом старшим, потом дивизионным и, наконец, корпусным врачом. В эту ужасную войну бои и тиф косили докторов не менее, чем солдат и офицеров...»

© Куприн А. И., 1930

© Public Domain, 1930

Александр Иванович Куприн

Кража

К. Н. Кривошейку

С не совсем обыкновенным человеком свела меня судьба здесь, в Париже, года три назад. Звали его Петром Николаевичем Бровцыным.

На всемирную войну Петр Николаевич пошел в четырнадцатом году, будучи уже немолодым врачом. Последовательно он прошел довольно значительный служебный стаж. Был сначала младшим полковым врачом, потом старшим, потом дивизионным и, наконец, корпусным врачом. В эту ужасную войну бои и тиф косили докторов не менее, чем солдат и офицеров.

Но вот высыпали по здоровому телу России красные гнойные прыщи большевизма, началось дезертирство, пошли митинги, раздался нелепый девиз:

«Попили нашей кровушки – будя». Заключен был в Бресте похабный договор: «Воевать не будем, а мира не признаём»... Вся в стыде, позоре и крови русская армия торопливо разлагалась, и сама Россия потеряла лик и имя.

Тогда возникло белое движение... Доктор Бровцын – очень хороший врач, но, вероятно, в ту пору воин и патриот превозмогли в его душе целителя, костоправа и составителя растерзанных членов человеческих. Бровцын записался рядовым стрелком в тот отряд, который тогда формировался вблизи Пскова, на Талабских островах, и который потом развернулся в славный Талабский полк. В этом полку Бровцын и прослужил стрелком – от его возникновения до его разоружения в Эстонии...

Петр Николаевич обладал редким даром – зорко видеть и внимательно слышать, а видел и слышал он очень многое и передавал свои впечатления с той резкой простотой, которая делает рассказ достоверным и выпуклым.

В то время, в девятнадцатом году, после неудачи у «Красной Горки», Юденич, потеряв надежду на выступление Финляндии, приехал со своим штабом в Нарву, чтобы лично руководить действиями Северо-Западной армии. Положение ее было и тяжелое, и запутанное. С одной стороны, Юденич находился в полной зависимости от союзников, которые, при малейшем расхождении с ним во взглядах, грозили прекратить снабжение; с другой стороны, он, как и армия, всецело зависел от эстонцев, озлобленных тем, что русское правительство, имени Колчака, не желало признавать их независимости. Наконец, в самой армии Юденич, как совсем ей чужой, не пользовался никаким авторитетом, а известно, что психологическое, привычное влияние играет в добровольческой армии гораздо более решающую роль, чем в войсках регулярной армии. Юденич же принял заочное благословение Колчака на дистанции в две тысячи верст.

Снабжение армии было самое плачевное. О теплой пище давно не было помина. Единственно, что выдавалось, это – два фунта американского белого хлеба и полфунта американского сала. Жалованье не было выдано за два или три месяца. Можно ли удивляться тому, что при таких обстоятельствах армия, перешедшая к позиционной войне, начала добывать себе необходимое на местах, чем, понятно, возбудила против себя неприязненные чувства населения, еще недавно встречавшего белую армию восторженно, как избавительницу от большевиков.

Снабжение, обещанное давным-давно англичанами, все не прибывало, и настроение падало. Английский генерал Марч передает в ультимативной форме приказание Юденичу о сформировании в Ревеле Северо-Западного русского правительства, причем был дан список лиц, обязанных войти в состав этого правительства, и, кстати, между ними имя Николая Ива-

нова. Была в этом приказании и угроза: «Если это правительство не будет сформировано в течение сорока минут, то всякая поддержка русской армии будет немедленно прекращена».

Ах! попадала ли когда-нибудь дружественная армия в такие жестокие, злые и оскорбительные тиски?

Переломным событием можно считать появление в Нарве первых эшелонов ливенцев, принадлежавших к той добровольческой дивизии, которую сформировал в Либаве светлейший князь А. П. Ливен.

Необычна и, пожалуй, даже трогательна была история создания Ливенской дивизии.

После Бреста генерал фон дер Гольц решил снять оккупацию Прибалтики: не так для него была опасна борьба с большевиками, как моральное разращение его немецких солдат – следствие пресловутых братаний, проигранной войны и долгого безделья в чужом крае. Он был не из тех исторических германских политиков, которые готовы были бы впустить в свою страну большевиков, чтобы заразить ее, заразить всю Европу и после того овладеть ею. Фон дер Гольц знал, что победа над большевиками возвратит жизнь России, а вместе с тем расчистит путь к примирению держав. Потому-то он не только не препятствовал князю Ливену формировать и обучать белые отряды, но даже оказывал ему всевозможную помощь и дал русским солдатам самое отличное снаряжение.

Появление первых ливенцев в Нарве произвело удивление, восторг, переполох: в чьих-то записках я читал, что даже – зависть. Я думаю, что у солдат это чувство было совсем другого цвета, вроде того что:

«А вот нашим не удалось!» Удивительно резко сказала эта разница между нарвскими и ливенскими солдатами на другой день после прихода ливенцев. В этот день надлежало произойти какому-то очередному официальному сборищу: обеду? рауту? заседанию? – я не знаю и не знаю также, чей острый и смелый ум изобрел к этому дню великолепную инсценировку. Не тот ли полковник Пруссинг, которого как знающего прекрасно английский язык посылали для рискованных объяснений к ужасным Гогу и Магогу, к страшным генералам Марчу и Гоффу, и который – когда надменные англичане позволяли себе возвысить голос в разговоре с русским штаб-офицером – начинал на них кричать так, как англичанин не отважится кричать даже на негра! Не тот ли Пруссинг, требованиям которого всегда уступали, ворча, оба британских самодура; уступали и говорили потом на ушко русским полководцам: вот полковник Пруссинг у вас – это настоящий офицер.

Решено было поставить у крыльца того дома, где предполагались торжества, двойной почетный караул. Слева – от ливенцев, справа – от любой нарвской роты.

И вот стали подъезжать кареты с англичанами, французами и русским генералитетом в орденах. Впечатление – дикое. Слева стоит взвод выровненных, точно по ниточке, красавцев. Темно-синие мундиры, высокие блестящие сапоги, каски-шлемы, взоры ясные и смелые, морды толстые. А справа – одно недоразумение. Откуда взяли, из какого Мейнингского театра, из какого дворца чудес, из какой вяземской лавры этих жалких михрюток, как будто только что выловленных из помойной ямы; грязных, босых или полубосых, кто в лаптях, кто в дамских разорванных ботицках, с рваными рукавами и со штанами, махровыми, как у пуделя. И все – бледные, испытые, слабые от недоедания.

Дипломатия прежде всего рекомендует ничему не удивляться и во всех внезапных случаях прежде всего хранить спасительное молчание. Но ведь бывают же иногда настоль потрясающие явления и события, что перед ними не устоит ни железное сердце, ни пробковая голова присяжного дипломата.

Кто-то из знатных гостей иностранцев спросил неуверенно:

– Но почему же вот эти такие, а вот эти такие? Тогда чей-то твердый голос громко произнес сначала по-французски, а потом по-английски, ясно отчеканивая каждое слово, каждую букву:

– Это обмундирование, что вы видите налево, нам дали наши вчерашние враги – немцы. А то отрепье – наши старые друзья и союзники.

Словом, «воцарилось неловкое молчание», как писалось в давнишних романах. Знатные иностранцы так торопились поскорее уйти от этого разительно-контрастного зрелища, что на каменных ступенях лестницы образовался затор.

Видите ли, бывало иногда в детстве, что тебе толкуют, толкуют целый день какую-нибудь математическую истину, а ты, хоть убей тебя, все меньше и меньше ее понимаешь, хотя уже давно у тебя пар вьется над головой. И вдруг учитель озлобится, плюнет и укажет тебе в двух грубых словах правильный подход. Не знаю, вследствие ли урока с почетным караулом или просто в силу естественного течения обстоятельств, но все-таки через десять дней прибыл первый пароход с вооружением и снаряжением. Но одно я знаю: на французских и американских представителей этот показательный фильм произвел густое впечатление, всю мощность которого они показали позднее...

Сказано давно: породистый кот особенно хорошо ловит мышей, когда он сыт. Про солдата можно тоже сказать: он гораздо лучше дерется, когда сыт, обут и одет. Глуп был тот сказочный полководец, который говорил: «А я своим солдатам четыре дня есть не дам, так они тебя, распротакого-то сына, живьем с костями сожрут и назад не вернут». Плохая игра, когда солдат между голодом и палкой... И вот, после волшебного парохода, приоделись, помылись, наелись давешние растрепанные михрютки, стали в стройные ряды, и куда же их, прежних, узнать было! Вместо безделья ясно перед ними была начертана прямая линия. Идем на Петербург. Долой большевиков. Пусть Россия оправится, передохнёт и, не торопясь, подумает, как ей управиться.

Колоннами, почти без связи, но прямо на северную звезду поперли вчерашние михрютки – теперешние герои – сквозь междуозерные пространства, а перед ними в ужасе бежала красная армия. И не то ее пугало, что белый враг неутомим, а то, о чем с горечью в донесении писал комиссар: идут, черт бы их побрал, с песнями.

Первым же выступил 1-й батальон ливенцев.

Мне пришлось, два года назад, написать и поместить в «Возрождении» в виде фельетона почти все, чему я был свидетель и что я слышал от лиц достоверных о самоотверженном стремительном наступлении Северо-Западной армии в 1919 году на Петербург и об ее упорном, геройском и трагическом отступлении. Позднее я собрал эти статьи в отдельную книгу, которую выпустил в свет под общим заглавием «Купол Св. Исаакия Далматского». Поэтому, не желая повторяться и боясь наскучить, я не буду говорить ни о подвигах Северо-Западной армии, ни о ее великодушии.

Но, признаюсь, меня всегда волновала и раздражала своей несправедливостью почти всеобщая привычка эмигрантов говорить огулом и непременно лишь дурное и злое о всех белых армиях. А не они ли, эти многострадальные армии, вынесли на своих плечах этих брюзгливых беженцев из большевистского ада?.. Да и не видели ли брюзги всего-навсего один тыл, изнанку войны, которая всегда и везде не без крови и грязи?

Я помню суровый, морозный конец ноября 1919 года. Отдельные воинские части Северо-Западной армии, сильно поредевшие от непрестанных боев, от повального тифа и свирепых морозов, еще дрались вместе с эстонцами против большевиков на подступах к Нарве, дрались с отчаянием раненого льва, а клевета уже начинала пачкать их славные имена. Была в Ревеле такая социал-демократическая газетка на русском языке (не «Свобода России» ли?), ее издавал Дюшен, ближайшим сотрудником был Кирдецов. Оба – личности довольно громко и весьма печально известные в печати и ныне нашедшие свое место у большевиков. Еще работал в этой газете какой-то грязнолицый недоросль Башкиров, весь развинченный и всегда мокроносий, с желтыми глазами. Пока в Эстонии находилось много белых, еще не разоруженных окончательно, они язвили несчастную армию потихоньку, с придушенным змеиным шипением. Но

когда они убедились в том, что жалкие остатки этой армии совершенно обессилены и что эстонцы открыто проявляют к ним ненависть, они перестали стесняться, и каждый номер их газеты был переполнен клеветой, издевательством и ложью по адресу белой армии, которую сплошь обвиняли в грабительстве, насилии, повальном пьянстве и грабеже населения. А сами они, между тем, из спокойного Ревеля ни разу не высовывали носов. Теперь-то известно, ради каких будущих благ они вели свое гнусное дело. Своим сдобным тенорком к ним присоединил голос ныне покойный Арабажин в гельсингфорской газете «Русская жизнь». Тот уж совсем ровно ничего не видел и не слышал, ибо от природы был лишен этих способностей. Неизвестно почему он сделал себя принципиальным врагом белого движения, но все глумливые, позорные наветы на Северо-Западную армию он целиком перепечатывал из дюшеновской газеты, в пользу и осведомление как финских, так и шведских газет Гельсингфорса. Ах, печать – обоюдоострое оружие! Она несет с собою свет, знание, гласность, справедливость, но она же, подобно базарной торговке, усердно разносит по всему миру грязь, сплетню, каверзу, клевету, раздувая горчичное семя до размеров цеппелина.

На меня лично вся краткая эпопея с Северо-Западной армией произвела глубокое, неизгладимое впечатление высоты духа, святой любви к родине, крепкого мужского покровительства людям измотавшимся, страдавшим под бессмысленной, своевольной тиранией большевиков. Но все-таки, работая над «Куполом Св. Исаакия», я сам для себя хотел избежать ошибок и односторонности. Вот почему у многих десятков людей, на чей опыт, знание и правдивость я мог опереться, я не устал расспрашивать о фактах и впечатлениях, касающихся Северо-Западной армии, и всегда радовался тому, что стою на верном пути.

По той же причине, едва только мне удалось познакомиться с доктором Бровцыным, с этим высоким хладнокровным уверенным человеком, то сразу взял его в плен и взял на несколько вечеров.

Он говорил охотно, но совершенно спокойно, и я чувствовал, что его небрежная и точная простота гораздо глубже моего пафоса.

Он говорил:

– Я согласен с вами – да и зачем собирать мелочи? Возьмите вы хоть такое, например, явление, которое для нас было обыденным: ведь при отступлении нам волей-неволей приходилось возвращаться вспять по тем же самым прежним дорогам, через те же села, деревни и хутора, в которых мы останавливались при нашем наскоке на Петербург. Возвращались мы разбитые, усталые, обтрепанные, грязные, теснимые сзади красноармейцами, и что же? Нигде мы не слышали грубого слова или попрека, не видели злого или насмешливого лица. «Ну, Бог даст, в следующий раз дойдете, всегда ведь до трех раз ждать нужно».

Идя туда, мы их потчевали салом и белым американским хлебом. Теперь они нас угощали ржаным караваем и отсыпали из кисетов махорку. Часто предлагали и, конечно бесплатно, подводы под больных. Когда уходили с ночлега, бабы крестили нас и плакали... точно по покойникам. Ну, какая же здесь ненависть населения, я вас спрашиваю?

Я глядел на Петра Николаевича с восторгом и благодарностью.

– А вот они, подлецы, – сказал я, – кричали о грабеже и краже.

– Пустое. Никаких краж не было, совсем другое было в сердцах.

Доктор помолчал немного и вдруг с лукавой полуулыбкой протянул:

– Впрочем...

– Что – Впрочем, Петр Николаевич?

– Впрочем... – и полная веселая улыбка осветила его лицо. – Впрочем, случилась раз одна кража и даже в моем присутствии.

– Неужели?

– Да, уж это верно я вам говорю. И не только я был ее свидетелем, но, откровенно говорю, и участником. Вот я вам расскажу по порядку.

Знаю я, что вы в свое время дослужились до подпоручика, или, пожалуй, даже до поручика, но ведь и я не простой рядовой стрелок, а, берите выше, фейерверкер, командир отделения. Жил со своими ребятами дружно. Держал их на тугих вожжах, но, когда надобно, держал мягко. Особенно близко почему-то привязались ко мне два брата Колосовых, оба талабские рыбаки, огромного роста. Они были истинные колоссы. Я, как видите, порядочная орясина, но им обоим только по плечо подходил. Всюду они за мной путались: и в бою, и на походе, и на ночлегах, как два оруженосца или как два громадных меделяна. Услужливы были, как няньки, а об их изобретательности нечего и говорить: одно слово, талабские рыбаки, «пскапские».

Почему я им так уж особенно понравился, трудно сказать. Язык, что ли, у меня так ладно подвешен? Или характер мой ровный им понравился? Или оттого, что я никогда не ныл и не киснул? А может быть, и то их поразило, что я так ловко перевязывал случайные раны и вправлял вывихи. Ведь никто в полку не знал о том, что я врач. Когда записывался, сказал просто: «Бровцын, Петр». А мне ответили: «Ступай во вторую роту, явись фельдфебелю». И все. Паспорт у нас не пользовался большим уважением. Хороший ты солдат – иди к котлу, братом будешь; плохой – за хвост и из компании вон. Быть одновременно врачом и солдатом мне не хотелось и по сердцу, и по логике. Одно из двух: либо дырявь, либо штопай. Вот почему я посильную медицинскую помощь оказывал по секрету, как бы контрабандой. Позднее моя тайна как-то добежала до штаба, и ничего из этого хорошего не вышло. Жил я с солдатами премило. Полагаю я, что мое знахарское искусство и прельстило так просторных талабских рыбаков.

Вот как случилась эта кража. Отступали мы. Гатчина. Колпино и Волосово остались далеко за нами. Шли мы, конечно, не в строевом порядке, а вразброд, кучками, держа взаимную связь каким-то привычным верхним чутьем... Ужасный был день. Болотный тонкий лед ломался под ногами, грязища и холод чертовские. Со вчерашнего дня ни крошки во рту не было. Идем втроем, молчим и от голода слюну глотаем. Вдруг видим, в стороне от дороги маленький отдельный хуторок. Мы – туда. Смотрим в окно. Видим, варистая печь пылает, а перед печью вся в красном огне здоровенная, дебелая «пскапская» бабища. Засучила рукава, да под саму мышку, и хлеба печет. Четыре хлеба уже положила стопкой, а пятый стоит, наклонно прислонясь к челу: это она нас слышала, не поспела положить. Мы постучались. Отворила дверь.

– Чего нужно? – голос неласковый.

Мы здороваемся.

– Здравствуйте и вы. Чего надоть? Старший Колосов говорит:

– Добрая женщина, нам бы хлеба немного, совсем оголодали. С большевиками мы за Петербург... дрались... Белые мы...

Она сразу взъелась.

– Много вас тут шляется по дорогам – белые, красные, желтые, синие... Мне на это наплевать. Сами скоро за милостыней пойдем.

Тут пришел мой черед вступиться.

– Красавица, – говорю я ей. – Вы же не думаете, что мы хотим бесплатно. Возьмите денег, сколько хотите. – И протягиваю ей толстую пачку юденических крылаток.

Та едва взглянула.

– А что я с твоими бумажками делать буду? Оклеивать, что ли, избу или... – Тут она ввернула два словечка очень метких, но совсем неупотребляемых в порядочном обществе. – Дал бы царских – был бы другой разговор. Проходите. Не застите.

Однако я упорствовал.

– В таком случае, сердитая хозяйюшка, может возьмете часы?

– Покажи.

Я снимаю с запястья мои никелевые оксидированные часы, в которых давно уже отошла чернь и проступила жестяная белизна металла и матерчатый браслет весь обомшел и растрепался.

– Нашел тоже! Если бы еще золотые. Сказала нет – и нет.

Но тут деликатно вмешался младший Колосов. Учтивым сладким тенорком, кокетливо изгибая шею, он сказал:

– Тетенька, а если бы мыльца мы вам предложили, что на это изволите сказать? Баба умякла.

– Мыло? Это совсем другая вещь, это дело.

– Только, тетенька, – еще нежнее запел Колосов, – уж очень мне неловко. У меня не цельный кусок, а так себе, обмылочек.

– Ладно, ладно, показывай.

Посмотрела внимательно, мотнула головой:

– Невелик обмылочек, а все-таки в хозяйстве пригодится. Ну, давай, что ли. Отрезала она ломоть от каравая. Свирепой нам эта баба сначала показалась, а как стала резать хлеб, то мы и увидели, что она предобрая. Начала резать узко, а под конец все шире да шире. Это уж такая верная примета. А суровость она нарочно на себя напускала. Просто пособачиться захотела.

Вышли мы из избы. Сели на бревна, а дальше идти уж терпения не было. Разрезали краюху на равные части. Жуем, а от наслаждения даже жмуримся. Хлеб теплый, круто замешанный, мягкий, пахучий. Наелись досыта, воды достали из колодца, испили. Только вдруг я себя хлопнул ладонью по лбу.

– Колосов, а где же ты обмылок-то достал? А того уже в сон клонит, отвечает лениво:

– Обмылочек-то? Да у ей же, на ручкомойнике.